

Вадим Левенталь

Маша Регина

Выдающийся роман воспитания рассказывает о превращении неказистой провинциальной девочки в мировую звезду.

The Guardian

Вызывающий на размышления роман о гадком утенке, исполненном страсти самому стать хозяином собственной судьбы.

Financial Times



издательский дом
ФЛЮИД
FreeFly



Вадим Левенталь

Маша Регина



Москва • 2018

УДК 821.161.1-31
ББК 84 (2Рос=Рус)6
КТК 610
Л 35

*Издательство благодарит Banke, Goumen & Smirnova Literary Agency
за содействие в приобретении прав.*

Левенталь В.

Л 35 Маша Регина : [роман]. – М. : Флюид ФриФлай, 2018. – 304 с.

С момента своего появления роман молодого петербуржца Вадима Левенталья собрал многочисленную восторженную прессу, попал в длинные и короткие списки многих премий и завоевал сердца многих и многих читателей по всему миру.

ISBN 978-5-906827-62-3

© В. Левенталь, 2018
© ИД «Флюид ФриФлай», 2018
© П. Лосев, оформление, 2018

Изобретение сюжета

Тоска, а не весна: на Пасху снег выпал. В деревнях вокруг церковей старухи тропы откапывают и мимо сугробов крестным ходом идут. Странно смотреть на них, полумертвых, как они сухими ртами гудят: *сущим во гробех живот даровав*. Свечи тухнут, валенки с ног падают, старухи друг за друга держатся, но идут. Хотя кому смотреть на них? Некому, разве птицам ночным, по черным голым ветвям сидящим. Молчат птицы, и звезды молчат, и мигают и те и другие, тьмой перемежая старушечье бытие.

Говорят, на Пасху на погостах деревенских — свой крестный ход. Встают мертвые из могил и ходят по кругу вдоль ограды, поют пустыми грудями: *смертию смерть поправ*. И шествие это, если и вправду оно совершается, должно быть куда многочисленнее того, что вокруг церкви. Живые старухи в мертвецах — что капля в море.

Крутится вокруг своей воображаемой оси Земля, а по деревням ходят старухи с мертвецами: *Христос воскрес из мертвых*.

Трудно текут по лесам реки, холодная вода со снегом перекачивается, ветер толкает ее вперед. Жутко было бы

в такой тьме человеку. Но люди пьяные спят, а мертвецам бояться нечего. И чего бояться старухам, когда попы возвещают им: *Христо-о-ос воскресе*.

Маша не спит. В ушах у нее играет тревожная музыка. Она представляет себе, что у нее нет дома, что она одна идет в темноте по дороге. Тело ноет от усталости, и все бы отдала за теплую постель и покой. Машины ноги кровоточат, звезды безразлично горят, облака проносятся по небу зловещими птицами. Она смотрит с тоской на окна домов: занавешены. Никто не ждет к себе Машу. Ей становится жалко себя, идущую, сердце сжимается, но вот же она: дома — на ней ночная рубашка, а одеяло хранит ее тепло. Плеер вдруг садится, и музыка перестает играть. Становится тихо, и Маша слышит стук своего сердца. Маша знает, как успокоить его. В темноте она идет на кухню, доски под ее нежными ногами скрипят, но тихо скрипят — родители не проснутся. На ощупь Маша находит холодильник, открывает его, и бледный желтый свет выхватывает из темноты тени стола, плиты, стульев, и ее саму — тонкую девочку в ночной рубашке, с медными пружинками волос, которые, когда она наклоняется к освещенным полкам, падают чуть не до пола.

Она берет тарелку, закрывает дверцу и в темноте ест вилок ледяной, восхитительно вкусный холодец. Спать она теперь не хочет — слишком вкусный холодец и слишком сладка жизнь, чтобы теперь спать. Она оставляет тарелку и нерешительно берет отцовские сигареты. Она не курит, но пару раз пробовала, и теперь ей хочется попускать клубы серого дыма, который так задумчиво перекачивается и уплывает. Тихо, чтобы не порвать тишину, она надевает в коридоре ботинки. На крыльце холодно и темно, но тем слаще ей будет вернуться. Маша зажигает сигарету и, не вдыхая,

отправляет дым тонкой струйкой вперед. Он поднимается вверх, забирается в нос и кусает глаза. Маша играет с дымом, выпуская его то клубами, то струйками, и ей радостно, что она будто бы не одна, будто бы дым тут с ней тоже курит. Ей хочется плакать или смеяться, но от полноты жизни — наполнить мир собой. Когда сигарета ей надоедает, она тушит ее об землю и запихивает в щель под крыльцом. Потом добегают до забора, садятся на корточки и, подождав, пока утихнет журчание, бежит обратно к дому. Тихо закрывает дверь, снимает ботинки и скользит в свою комнату, чтобы скорее забраться под одеяло, сесть, обхватив ноги руками, и испытывать счастье. Маша счастлива.

В соседней комнате спят, разметавшись на постели, Машины родители. Они спят крепко и не помнят, что в эту самую ночь, шестнадцать лет назад, они зачали свою дочь. Было это так. Лена гуляла с Пашей, взявшись за руки, и держаться за руки им было хорошо. Паша курил в ясное блестящее небо, а Лена жмурила глаза. Они целовались, Лена прижимала ладони к Пашиной спине, а Паша одной рукой обнимал ее шею, а другой нерешительно гладил Лену в сторону попы. Родители Лены уехали в гости, и в теплой кухне она угощала Пашу чаем, а потом позволила стянуть с себя кофту. Паша порывисто укладывал Лену на ковер, но она взяла его за руку и отвела в свою комнату. Там, на застеленной кровати, Паша судорожно, с четвертой попытки вошел в Лену, а Лена, стиснув зубы и зажмурив глаза, терпела боль. Оба они, каждый по-своему, были счастливы. Тогда Паша ушел от Лены, потому что дома его ждали родители, а Лена осталась и легла спать с сильно колотящимся сердцем. Теперь они спят вместе, а их дочь, бог весть почему, не может заснуть. Годы прошли для нее легко, сами по себе, — только взрослые люди вынуждены толкать тяжелое неповоротливое время, чтобы оно не остановилось.

Маша вылезает из-под одеяла, садится за стол и включает старую, всю в наклейках, настольную лампу. Потертыми глазами глядят на нее животные и люди с наклеек. В полутени на стенах улыбаются музыканты и герои фильмов. У Маши очень много вещей. Все они не представляют никакой ценности для остального мира, но для нее, для Маши, ее комната — сокровищница, набитая до отказа, как замок нибелунгов. Вещи — кусочки дерева, коры и глины, иконки и молитвы на ленточках, а еще свисающие с уголков полок, с гвоздиков и кнопок на цепочках, нитках и кожаных ремешках знаки зодиака, руны футарка, китайские иероглифы, пластмассовые собачки и тряпичные мышки, — все это, когда она включает лампу, выступает из темноты, в желтом свете покрывается расплывчатыми тенями и начинает напряженно существовать. А еще — ее книги; и те, которые не удержат в руках, где цветные картинки и познавательные надписи, и старые толстые книги, с уголками страниц, истончившимися от перелистывания, в которых герои и героини так сладко, так мучительно любят друг друга, и разваливающиеся, переклеенные скотчем учебники, в них что ни портрет, то с синей щетинистой бородой, а если в полный рост — то и с непропорционально большими гениталиями. Книги лежат на полках, в шкафу, на столе, перемешавшись с тонкими и толстыми тетрадками, здесь на полях расцветают цветы, сверкают глазами рыбы и птицы, вздымают башни города, а кроме тетрадок — вырванные одинокие листы с неровными краями, перекидные блокноты, исписанные ручки и изгрызенные карандаши. Под потолком, где сгущается тьма, покрытые пылью, сидят игрушки, куклы и звери. У некоторых из них стеклянные глаза, в которых отражается желтый ламповый свет. Еще больше вещей прячется в ящиках стола, за закрытыми дверьми шкафов, в подбрюшьях дивана, в бисерных коробочках и деревянных шкатулках.

Окинув взглядом свою кладовую, Маша открывает нижний ящик стола, достает альбом и большую коробку разноцветных карандашей.

Суть реки — рыбы, живущие в ней. Но когда человек смотрит на реку, он не видит рыб. Значит, единственный способ изобразить реку — это нарисовать ее в разрезе, с плавающими в ней рыбами. Все другое будет поверхностно. Это понимали древние египтяне, это понимают дети. Маша тоже давным-давно поняла это и с тех пор никогда не забывала. То, что человек видит, рисовать нет смысла. Поэтому в ее альбоме у птицы четыре крыла, а голова у человека растет из спины.

Маше было шесть лет, когда тетя Валя, приехавшая в гости из соседнего городка, подбрав от водки и селедки под шубой, пронзительно взвизгнула в умилении: *так вам надо девочку в кружок отдать!* Маша, возившаяся на полу с карандашами и бумагой, подозрительно из-под лба взглянула на тетю Валю, а потом метнулась взглядом к маме, будто прося защиты. Из мамы уже была плохая защитница — она тоже выпила водки и закусилась селедкой. *Да ну,* — махнула она рукой. *А что, можно,* — мечтательно проговорил папа.

Через неделю мама объяснила Маше, что кружок — это вовсе не страшно, что она там будет вместе с другими детьми рисовать, а тетенька будет объяснять, как это делать. От подозрения она Машу не избавила. Маша и так знала, как рисовать, ей не нужны были тетенькины объяснения. Но чтобы сделать маме приятное, она позволила взять себя за руку и отвести в кружок.

Кружок оказался вовсе не кружком, а квадратом — большая прямоугольная комната с потрескавшейся краской на стенах. В большие, чуть не во всю стену, окна были вставлены тяжелые двойные рамы, расчерченные, как для игры в крестики-нолики, на девять полей, белая краска на них

тоже облупилась. Но это не расстроило Машу, гораздо интереснее было другое: в комнате стояли мольберты. Мольбертов Маша раньше никогда не видела. Мольберты, ящики и коробки с красками, полные стаканы карандашей и банки кисточек примирили Машу с кружком.

Девочки — в кружок ходили только девочки — заглядывали Маше через плечо и кривили рожицы. Они таскали Машу к своим мольбертам и показывали ей домики, речки, дым из трубы и собачек с будками. Маша видела, что их домики похожи на домики, а собачки — на собачек, но сама так рисовать не хотела. Когда тетенька допытывалась у нее почему (*Машенька, ну сколько ножек у собачки? Разве бывают птички без клювиков?*), Маша напряженно отмалчивалась, а однажды расплакалась. Тетенька отстала от нее, потому что она была добрая и вообще-то ей было все равно. Кроме того, когда перед Машей клали стеклянный шарик и просили нарисовать фотографию шарика, Маша опускала на лицо трагическую усталость (как когда человека, который умеет хрустеть пальцами, просят — *ну пожалуйста, пожалуйста* — хрустнуть пальцами) и рисовала шарик так точно, что если бы кошка, которую прикармливала угрюмая сторожиха, ела стеклянные шарики, она непременно набросилась бы на бумагу.

Машины руки наливаются жаром, становятся горячими, как яйца, которые мама варит, чтобы прикладывать к носу, и тяжелеют, как поплавок, пропадающий под водой. Она вырывает из альбома лист и рисует карандашом. На ее рисунке ветер крутит Землю, цепляясь за верхушки деревьев и крыши домов. Женщины и мужчины спят в высоких мягких кроватях, а старики курят ядовитые папиросы, высунувшись наполовину из дверей. Дым от их папирос мешается с теплым размокшим снегом, мечущимся от дома к дому. Старухи ворчат под душными одеялами, нащупав пустое

теплое место рядом с собой. Собаки тревожно спят, поводя ушами. Улицы ее города пусты и темны.

Город, в котором живет Маша, пуст всегда. Зимой ветер наполняет его пустоту снегом, летом — песком и пылью, осенью — мертвыми листьями и холодной водой. Когда ветер выдыхается, пустота начинает звенеть насекомыми, гудеть печными трубами, шептать тальми ручейками. Пустота здесь не похожа на пустоту бутылки, из которой все выпили, она здесь — пустота внутри старой желтой гитары, которую папа снимает со стены, когда тоска отравляет ему сердце. Гитара своей пустотой подпевает папе. Город своей пустотой отвечает тоске Бога.

Мужчины здесь медлительны, а женщины сварливы, ревнивы и скупы. Люди, которые здесь живут, покрываются прожитыми днями, как струпьями, и к старости становятся уродливы, как сама смерть. Собак здесь больше, чем людей, и их лай волной пересекает город от края до края.

Машины руки вдруг становятся легкими, точно во сне. Она чувствует, что замерзла, поднимает голову и смотрит в окно: за окном, будто разведенное в воде молоко, заливают улицу рассвет. Рассматривая рисунок, Маша удивляется, как у нее получилась такая мрачная картинка, когда она была так счастлива. Удивляясь, она закутывается в одеяло и, перестав дрожать, согревшись, засыпает: дыхание ее успокаивается.

Тени собираются вокруг спящей Маши, сгущаются по углам, стекают по стенам, скрипят досками пола, рассаживаются по стульям, руки складывая на сухие колени, на краю кровати, в дверном проеме из тьмы проступают старухи; пальцами-крюками утирают крюки-носы, качают колючими подбородками, кратерами ртов шевелят; тусклые темные глаза ввалились вглубь головы.

Женщины бессмертны; смертны только мужчины. Бабушка Маши, и бабушка Машиной мамы, и бабушка Маши-

ной бабушки, — они живут в Маше, вокруг Маши и беззубыми ртами перешамкивают ее имя. Шорох этих голосов прорывается в Машин сон и тревожит его, но она не просыпается, спит.

Старухам не спугнуть ее сон; Машина щека румянится из-под одеяла, крылья носа равномерно вздрагивают. Старухи смотрят на нее, вздыхают и из-под седых бровей перемигиваются. В глазах их — нежность и осуждение. Нежность — потому, что свежая Машина жизнь достойна нежности. Осуждение и страх — потому, что дряблой кожей и холодными ленивыми сердцами старухи знают: Маша на них не похожа, Маша другая, мужского много в Маше, и их, старухино, бессмертие она, не зная этого сама, хочет украсть. Молодыми, полными крови руками измять, расплавить, как пластилин, в тепле своих пальцев и сотворить из него себе судьбу.

Тоскливо качают старухи головами, пальцами распухших от тьмы рук перебирают ткань юбок и что-то друг другу говорят: сокрушаются.

Когда наступает утро и звезды за окном бледнеют, тают страхи, потому что мертвым среди живых нельзя.

В школу — через улицу (архипелаг бугристого асфальта в лужевом море); по пустырю, на котором летом расцветают одуванчики, зимой появляются следы хорьков, а в апреле из потекших ручьев кричат отмерзшие лягушки; между рядами серых и страшных гаражей с ржавыми дверьми — Маша ходит как на войну. Маша знает — ей много раз говорили — она не-как-все, и сила, с которой отодвигается от нее ее соседка по парте (закатить глаза, чтобы все видели), сила, с которой сжимает пальцы, выводя в журнале тройку, пятидесятилетняя, с крашеной крышей волос на голове, учительница (помидоры «дамские пальчики» — это про нее), сила, с которой толкают ее пробегающие на перемене одноклассники (*Регина, двигай жопой*), — все они складываются в силу нена-

висти, которую Маша испытывает к школе. Единственное, о чем Маша в школе думает — все последние месяцы, с тех пор, как услышала это от девочки из параллельного класса, в веснушках, которая хвасталась, что ее брат... — так вот, брат этой девочки уехал в Петербург и поступил там в школу, живет в общежитии — Маша думает об этом на уроках, на переменах и после уроков, идя по коридору, ступая так, чтобы ноги не попадали на серые квадратики шахматного линолеума, только на зеленые.

Зато когда Маша возвращается (гаражи, пустырь, дорога) домой, она остается одна: мама и папа на работе. Она скидывает ботинки (подошва немного отходит, но Маша не замечает), снимает куртку, бросает в угол рюкзак, по спирали сматывает с шеи шарф; гримаса презрения к миру — тоже, в сущности, одежда — растворяется.

Маша будто на скорость съедает суп (маме не объяснишь, что есть — скучно), составляет из сыра и булки бутерброд и, пережевывая желтое с оранжевым, уходит в родительскую комнату. В комнате — снять с табуретки тяжелый фикус, забраться на табуретку, открыть (стон петель) дверцу шкафа, там — священным сном спят друг на друге кассеты. Кассеты и видеомагнитофон здесь едва ли не роскошь; но в Машинном доме они оказались случайно, кассетами и магнитофоном вернул папе долг дядя Миша (на самом деле он папе не брат, но Маша не умеет разбираться в степенях родства, ей все равно) после того, как по образцу столичных устроенный видеосалон за полгода разорился. Было это несколько лет назад, еще когда Маша не умела сама включать магнитофон; дядя Миша с тех пор спился и, как бывший учитель истории, проводил теперь на рынке для собутыльников исторические параллели.

На обложках кассет машут ногами узкоглазые мужчины с повязками на волосах, поводят пистолетами мужчины

в шляпах и сладострастно изгибаются полуголые женщины (вот почему кассеты охраняет фикус). Большая часть из них без перевода (о чем забыл дядю Мишу предупредить столичный продавец), но Маше это неважно: скормив кассету пыльной черной пасти, она придумывает истории, которые ей показывает маленький выпуклый экран, сама. Истории эти всегда про нее. Она уничтожает злодеев, спасает красоток и всякий раз, скрывая улыбку, удаляется (уходит, уезжает, уплывает) от мира в полном одиночестве — таков финальный кадр, до которого Маша почти никогда не успевает досмотреть: снаружи раздается топот ботинок по крыльцу — с работы возвращается мать. Серия экономных энергичных движений — и лишь фикус, подрагивая листьями, вопиет об осквернении могилы.

Моя почерневшие от чужих денег пальцы, мама расспрашивает Машу — оценки, суп, второе, — кивает и хмурится: опять бутерброды? Сначала хозяйственным — она вымывает из морщин, трещин и складок на пальцах черную грязь, — потом хорошим (которое экономит) мылом вспенивает ладони, вытирает крепким полотенцем — каждый палец отдельно — и наконец между прочим просит Машу пойти к бабушке. В ее голосе (*сходи, сходи, хлеб отнесешь, поговоришь, бабушка целыми днями одна, ты же знаешь...*) еле-еле подрагивает тревога. Маша не знает, но целый день, прижимая трубку ухом к плечу, выкрикивая в окошко: *у туалета только остались, будете брать?* — мама вслушивалась в тупое размеренное гудение: бабушка не отвечала.

Маша идет к бабушке, город кидается теньями от дома к дому, перелаиваются собаки, в сумке плещет от стенки к стенке в стеклянной банке фасолевый суп. Бабушка любит фасолевый суп. Когда она ест его, она подносит ложку ко рту и губами выхватывает раскаленные фасолины, будто вместо губ у нее руки. Бабушка любит еду.

Бабушка любит рассказывать о голодном детстве. Тогда Маше кажется, что она ее попрекает. Это Маше так кажется. На самом деле голодный ужас, прошивший бабушкину жизнь насквозь, смешивается в таких случаях с удовольствием вспоминать молодость.

Первый раз она голодала в гражданскую — ей было пять лет; последний раз после войны — она сама уже была без пяти минут бабушкой. С тех пор хлеб есть всегда, но бабушка испытывает платоническую страсть к еде — к идее еды — так, как это было во время коллективизации и в войну. Бабушка любит борщ, когда ей приносят борщ, щи — когда ей приносят щи. Сегодня Маша несет ей фасолевый суп. Но он сегодня не пригодится.

Дверь открыта. Маша толкает дверь и проходит в комнату: на высокой кровати (сколько там пожелтевших матрасов — два? три?) под одеялом лежит бабушка и внимательно смотрит на Машу. *Здравствуй, здравствуй, садись*, — она показывает на стул рядом с кроватью.

Маша ставит сумку с банкой и хлебом на стол у окна и напряженно садится. Бабушка сухой пухлой ладонью ловит Машину руку и поглаживает ее. Маша замечает, что бабушка лежит под одеялом в халате. На одной ноге у нее тапок, второй тапок лежит на полу. Маша теряется: взять тапок с полу и надеть на вторую ногу или наоборот. У бабушки другие вопросы, Маша знает их наизусть, и ей неловко на них отвечать — в каком она классе учится, какие у нее оценки и есть ли ухажер. В девятом, нормальные, нет.

Бабушка с удовольствием кивает Машиным ответам, потом приподнимается, подталкивает подушку локтем. Теперь она полусидит на кровати, одеяло углом сползло к полу. Маша дергается, чтобы поправить его, но бабушка ловит ее руку, сжимает ее двумя ладонями и перечисляет набор наставлений: слушайся маму, учись хорошо, слу-

шайся маму, люби родителей, они тебя любят, учись хорошо. В следующее мгновение бабушка умирает.

Маше кажется, что бабушкины глаза распахиваются — она все поняла, все увидела из точки вне — свою жизнь (поросята, корова, пропойца муж, колхоз, премия, один на все село телевизор, умерший от денатурата сын, хлебные крошки в ящике стола, сервиз из Ленинграда, смерть Сталина, любовник, женившийся на подруге), жизнь всех людей, страшную судьбу несчастной страны, тяжелый грохот, с которым телега этого мира катится в пропасть, свист ветра на улицах вымирающего города, баханье тысяч дискотек и удары молотов, загоняющих сваи в нежное тело Земли, — и через мгновение перед Машей лежит желтый, с матовым, как у воска, блеском кожи труп лысой старухи.

Некоторое время Маша сидит, тупо уставившись в остановившиеся бабушкины глаза. Потом она вдруг замечает, что до сих пор держит бабушкину руку, и кладет ее, тяжелую, на одеяло. Трясет бабушку за плечо. Оглядываясь — все по-прежнему: тикает белый, круглый, на медных ножках будильник, движется на тюлевой занавеске тень от груши, темнеет и пахнет старьем желтый оцарапанный шкаф, — Маша обращает внимание на пакет, который она принесла. Он стоит на столе — в нем, еще чуть теплая, банка с фасолевым супом. Вопрос, забирать домой банку или нет, так властно занимает Машины мысли, что она забывает о стоящем в прихожей под белоснежной салфеткой телефоне, — нужно было бы позвонить. Маша вынимает из пакета хлеб, отламывает кусочек пропеченной дочерна горбушки, жует его и смотрит в окно.

Дожевав, она вынимает из пакета банку, снимает с нее тугую полиэтиленовую крышку и осторожно — не расплескать — выносит во двор. Там она медленно разливает фасолевый суп вокруг груши. Вернувшись в дом, она опо-

ласкивает пустую банку под струей холодной, пахнувшей железом воды и, закрыв, уносит с собой. Всё.

Возвращаясь домой, ставя ноги наугад то в мокрый снежный крем, то в темные пучки прошлогодней травы, Маша чувствует в себе странную силу, как будто бабушкина смерть что-то ей подарила — уверенность или счастливую возможность именно теперь сделать то, что задумано и намечтано давным-давно. Остановившись на развилке (асфальтовая дорога с фонарями — влево, темный путь между кустов — прямо), Маша задыхается на минуту от ясного понимания того, что это все-таки будет.

А будет так: Маша, преодолев сопротивление своей матери, пережив многодневную истерику, уедет из этого города. Мама будет убеждать, плакать, умолять, уговаривать, рыдать, проклинать и своей родительской волей запретит. Отчаяние матери будет вещественно — Маша увидит его в красных от слез глазах, в мокрых морщинах кожи лица, в цепких пальцах, сжимающихся схватить Машу за волосы, как в детстве — выбить дурь. В просительной униженности мамы, сидящей на диване одной ягодичей — *а как же мы без тебя, ты об этом подумала?* Нет. В этой вакханалии женской тоски у Маши будет союзник — отец, который сначала выпучит глаза и специально рассмеется — *что?!* — и скажет, конечно, нет — *иди уроки делай, не пугай мать*. Но потом он в каком-то безоглядном вдохновении расплачется, проговорит, выгнав мать с кухни, с Машей целую ночь и под утро, промолчав с полчаса, достанет из жестяной банки для гречки спрятанные на черный день деньги — ровно на билет до Ленинграда (здесь он до сих пор Ленинград). Через неделю постаревшая на целую жизнь мать, закрыв окошко на обед, обольет слезами дохлый станционный компьютер и выбьет дочери билет.

Все это Маша видит не в последовательности событий, а в единстве свершающегося сюжета, в полноте становления

жизни. Сжатые кулаки болят и — Маша чувствует — вот-вот брызнут горячей кровью. Маша пересекает разбитую, залитую талым снегом дорогу и уходит по темной узкой тропинке — короткий путь домой.

Маша не знает — и не узнает больше никогда, потому что единственный человек, который это знал, уже умер — речь о бабушке, — в бабушкиной жизни это место (пересечение дороги, ведущей в город, с узкой тропинкой) было важным. Много лет назад дедушка, ездивший в райцентр на курсы, возвращался этой дорогой домой. В кармане новенького пиджака у него свидетельство об окончании курсов — он теперь помощник машиниста — и паспорт, пахнувший свежими чернилами. Рядом с ним, сжимая его предплечье двумя руками, сидит бабушка. Она влюбилась в этого крепкого и уже усатого мужичка, и однажды утром — родители, ошарашенные новыми советскими порядками, только развели руками — бодрый, пропахший махоркой директор свежепокрашенного загса, улыбаясь, клякнул им в паспорта: *поздравляю вас, товарищи!* Бабушка прижимается к дедушке, удерживает ногами узелок с одеждой, трясется в обросшей сеном и коровьим говном полуторке, смотрит на залитую солнцем дорогу и испытывает ничем не оправданное, неотвратимое счастье — единственный, может быть, раз в жизни. Это та самая бабушка, которая холодеет теперь бессмысленным телом в провонявшей кровати.

Дома, после маминой истерики, крика, слез, нашатыря, звонка в скорую, слез, слез, слез, Маша запирается в своей комнате и в альбоме, между недорисованными профилями и башнями туманных городов, пишет на разные лады: *Мария Регина, Мария Регина.*

Родовая хирургия

Мужчины тотально смертны потому, что их тело легко, как рукоятка молотка. Вес воли — движущая причина их жизни.

Старая, люди чаще всего живут назад — стремительно, как пружина, которую наконец отпустили. Щелчок, с которым мама, ударив клавишу компьютера, выбила Маше билет в Ленинград, был щелчком ногтя, выскальзывающего из-под спирали пружины. Мама стала стареть, и первыми постарели ее глаза. Зеленели новорожденные листочки, вылуплялись из травы одуванчики, намок и слежался песок на бабушкиной могиле — мама как юла вертелась по магазинам, собирая Машу в дорогу — носки, трусы, кофточка, свитер, шапка (*мама, зачем? лето!*), наволочка, тетради, ручки, карандаши (*сала кусочек возьмешь?*), — но машина ее жизни уже катилась по инерции.

Провожая Машу на поезд, мама заглянула в вагон: кто едет? — объяснила Маше (*да знаю я, знаю*), что в вагоне есть два туалета и ходить надо в этот, а не в тот, пересчитала еще раз сумки (*кажется, все*) и с настоящим ужасом посмотрела на чуть пьяного и пахнущего табаком проводника: *женщина, покиньте вагон!* Посмотрев под колеса поезда (где-то слы-

шала, примета такая), она опустила руку, которой в воздухе шевелила пальцами, и тяжело, отчаянно разрыдалась — так, что у папы свело горло. Мама плакала всю дорогу домой, да и дома успокоилась не сразу, но то, что стало с ней потом, напугало папу еще больше. Она все так же готовила, ходила на работу, вытирала пыль и подметала полы — но ее ладони стали покрываться сухой коркой, волосы выбились из-под заколок и повисли на висках, а яблоки глаз выстыли и остановились. Произошедшее не отпускало маму, так что первый вопрос, с которым она обратилась к папе после нескольких дней молчания, был: *почему ты отпустил ее?*

С этого момента и до самой смерти — все последующие годы — папа так и не научился отвечать на этот вопрос. Мама задавала его все чаще и настойчивей. Не в том дело, что он не мог сформулировать ответ или упрямо не хотел отвечать. То, что он мог бы сказать — но что сказать боялся, потому что знал, что этот ответ не лучше других, — это что в действительности он просто забыл почему.

А было это так. Папа вернулся с работы и пошел на кухню мыть руки. На кухне было немирно: мать с красными пятнами на лице кричала на Машу. Маша сидела на стуле, подложив ладони под бедра, и молчала, упрямо нагнув голову. На столе были расставлены тарелки и царствовала кастрюля с супом.

Папа начал уже почти привыкать к ссорам: две недели в доме была война. Маша маме рассказывала про школу-интернат, мама в школу не верила, уговаривала, кричала и плакала. Папа хотел есть и чтобы все было, как было, — смотреть на плачущую маму ему было страшно. Папа говорил Маше: *перестань выкобениваться*, — и надеялся, что она перестанет.

Папа прошел к раковине — мама и Маша, показалось ему, его не заметили. Тогда он стал мыть руки, и, пока он крутил

в ладонях кусок мыла, случился взрыв: по доскам пола прогремел стул, с которого ракетой вспрыгнула Маша. Маме, переставшей плакать, и папе, рывком обернувшемуся на нее, она крикнула: *я не хочу провести свою жизнь так, как провели ее вы!* И, сжав кулаки, убежала из кухни.

Что-то сместилось в мире, и папа, проводивший глазами сбежавшую дочь, продолжая намыливать руки, перестал слышать. Он слышал только шум льющейся воды. Остекленело уставившись в пену на своих пальцах, папа вспомнил, о чем мечтал в детстве.

А мечтал он вот о чем. Из дома — от пьяного, неуклюжего отца и от измученной, взбешенной матери — он с соседским мальчишкой бегал в лес. Паша и Витя стаскивали сухие ветки и листья в траншею, оставшуюся от войны. Там у них был шалаш, а в шалаше — склад: они собирали гильзы, обломки касок, а однажды нашли даже обросшую мхом гранату. Когда Паша приходил в шалаш один, он перебирал ржавый металл и представлял себе идеальную жизнь. Выглядело это так: он жил в жарком американском лесу, в пещере за водопадом. От мира его отделяла искрящаяся на солнце тонкая пленка воды. Снаружи это была низвергающаяся с головокружительной высоты струя, вспенивающая голубое озеро внизу. Изнутри это был уютный и удобный дом, стены которого были увешаны трофейным оружием, а полы уложены шкурами тигров и медведей.

Сейчас Паша снова, как и две трети жизни назад, увидел себя в своем идеальном доме: сквозь тонкую пленку холодной воды в него смотрели джунгли и жарко горело американское солнце. И как будто сквозь эту пленку впервые прорвался к нему вопрос: а как прожил жизнь он? Вода бухала в папиных ушах, мозг превратился в колотящееся сердце.

Витя, с которым папа обустроивал шалаш, однажды отправился туда без него и хотел очистить найденную гранату

от мха. Взрывом Вите оторвало руки и снесло полголовы. Сейчас папе причудилось, будто вместо Вити был он — мыло превратилось в его руках в гранату, и жар высвободившегося джинна ударял в виски. Папа вдруг понял, что он жив — что он живой комок воли и что сила взорвавшейся гранаты в его руках. Знание живой жизни — жизни как движения воли — тут же покинуло папу, но тихая реверберация этого знания заставила его, когда он доел суп, сказать маме: *позови ее*, — а когда та пришла с Машей, прогнать маму с кухни.

Что он хотел сказать дочери, папа не знал. Что он должен был бы сказать — забыл, как только выключил воду. Так что, усадив Машу за стол, он спросил ее просто, так, будто хотел узнать: как она хочет жить? Маша не могла ответить на папин вопрос и вместо этого стала говорить, как она жить не хочет. И на вопрос *как?* — стала описывать жизнь своей матери.

Два человека не могут услышать друг друга, обмениваясь репликами, — папа не понимал Машиной скуки, собственная тоска хватала его клешней за горло. Слова дочери он воспринял как обвинение своей собственной жизни и стал оправдываться. Уже давно закончился выпуск новостей, который он никогда не пропускал, — папа, будто сорвав с раны повязку, пересказывал Маше, как жил он. Разворачивая перед дочерью окровавленный, засохший в корочку бинт — свою жизнь, — папа с недоумением обнаружил, что все, что он может сказать в свое оправдание, — это что у него не было выбора. Разве он мог не пойти в школу? Разве после школы он мог не пойти на курсы — водителей, но хоть бы и механиков, слесарей — все равно? Разве он мог не жениться на матери, которую он любил и которая однажды, краснея и задыхаясь, сказала ему: *Паша, я, кажется...* И что он мог сделать — кроме как устроиться в автопарк и крутить

баранку с девяти до шести каждый божий день, радоваться премии, утаивать часть зарплаты от жены, сбегать по пятницам на пьянки с друзьями, помогать матери вести огород и мечтать о новом телевизоре.

Папа рассчитывал оправдаться, но, рассказывая все дальше и дальше, понял, что зачитывает обвинение, и расплакался. И тогда Маша поняла, что победила, и, ощущая эту победу как новый воздух в легких, сказала, что у нее выбор есть. Что она может поехать в Петербург и поступить там в хорошую школу, про которую она слышала от девочки из параллельного класса, у которой туда поступил брат, что она поступит туда и будет много учиться — так, чтобы поступить потом в университет и жить совсем, совсем по-другому, но только — и это единственное — у нее нет денег на билет.

Мама много раз требовала пересказать этот разговор, но папа отмалчивался. Не мог же он, в самом деле, сказать, что в полчетвертого утра, когда он взглянул на Машу, он увидел вместо милого лица своей дочери — тени бледного утра, кухонных ящичков и полок, тряпичной люстры и висящих на стене гирлянд лука и чеснока так легли — страшное, обезображенное глубокими морщинами лицо дряблой старухи, которая к тому же богомерзко ухмылялась пыльным ртом. Что, испугавшись, он хотел разрушить иллюзию и вскочил, чтобы включить свет, и правильным продолжением этого жеста было — достать из шкафчика жестяную банку в желтый горошек с надписью «греча».

Всего этого папа никогда не мог рассказать маме, мама обижалась и плакала, папа пил и, когда напивался, тянулся к гитаре.

Юность есть возмездие, и как возмездие она безжалостна. Как только мама и папа скрылись из исцарапанного окна поезда, Маша забыла про родителей. Плацкартный вагон — главный русский хронотоп — был полон людей. Люди ехали

издалека и уже успели наполнить изрезанное полками пространство запахами — яйца, курица, пиво, носки, несвежее дыхание — и болтовней (*а я ей и говорю*). Маше было страшно и весело.

Вагон принял Машу безразлично. Проводник отобрал билет, мужичок в майке, оторвавшись от карт, помог забросить сумки наверх, огромная баба предложила яичко («спасибо, у меня есть, я сама хоть полвагона накормлю»). У Маши не было книги, да она и не смогла бы читать — она смотрела в окно: поезд несясь поперек садящемуся солнцу; поля, реки, озера, леса, деревни проносились мимо, и каждая новая река была багровее предыдущей.

Мимо Маши пролетали деревеньки и городки, как один похожие на тот, в котором прошла ее жизнь. В полудреме — Маша устала, но не признавалась себе в этом — ей чудилось, что она еще не уехала из своего города, да и не могла, вот же она: водонапорная башня из красного кирпича с обломанной треугольной крышей, вот стационарный магазин, в котором ночью очередь за маленькими и поллитровыми, вот дорога в центр и вдалеке — флаг черт знает каких цветов над главным зданием городской площади, и Маше не нужно было видеть, чтобы знать: четыре колонны и облупившийся герб под козырьком, и памятник лысому Ленину у входа. Город не отпускал ее, он кривился, цеплялся за колеса поезда. Покосившимися столбами, мертвыми фонарями, мятыми дорожными знаками, призраками заброшенных фабрик и мемориалами в честь героев войны — он продолжал быть, хватался клыками столбиков, отмеряющих километраж, за Машину грудь. Ужас парализовал Машу — она вдруг поняла, что ей некуда деться, — и, закрывая глаза, в мерном перестуке колес она слышала неумолимость приговора: куда бы она ни ехала, город будет с ней, он проник в нее, как радиа-

ция, как соль проникает в мамины огурцы, с этим ничего нельзя сделать, только, как опухоль вырезают вместе с грудью, отбросить самую свою жизнь.

С усилием, будто выныривая из-под тяжелой мутной волны, Маша открыла глаза. Напротив сидел и внимательно смотрел на нее сквозь полутьму вагона мальчик, каких Маша никогда раньше не видела, — мальчик с лицом наследного принца, красивый, как солнце, просвечивающее сквозь новорожденный лист.

Он лежал там, вдалеке, на полке, читал, теперь читать стало темно, он спустился и увидел Машу, что она не спит, и подумал... — он смущался, — подумал, что, может, они поболтают, раз уж не спят, одни на весь вагон.

Маша не могла толком рассказать, куда она едет. Она слышала, что в Петербурге есть школа — она знает ее номер, — что там учатся не только питерские, там есть общежитие, и что сейчас, в конце мая, там вступительные экзамены, она едет сдавать их, а потом учиться в школе. Глаза мальчика загорались все веселее, пока Маша рассказывала, а когда она сказала, что даже адреса не знает — *но номер-то есть, можно в любом телефонном справочнике узнать*, — мальчик от восторга даже прихлопнул ладонью по столу.

Он уже закончил школу — *ну почти*, — только выпускные остались, а ездил... ну пришлось поехать, дядя умер, похороны. Расстроился? Нет, он не сильно знал этого дядю, но поехать было некому, и, кстати, если Маша курит, то, может, они пойдут в тамбур, там, наверное, нет никого, можно поболтать.

Дым от зажженных сигарет мгновенно заполнил узкий шкаф тамбура и будто пробудил к жизни дух этого заведения: нещадно завоняло. *Я вообще-то не курю, ну, то есть недавно начала*. Мальчик посмотрел на морщащийся Машин нос и царственным жестом открыл дверь между вагонами.

Между вагонами, на прыгающих их плавниках, было холодно и шумно, но весело и свежо. Ветер неожиданно залетал в эту ловушку, в смятении рыпался от стенки к стенке и со свистом выскакивал в черные щели. Дым забирал с собой.

Они ни о чем особенном не говорили — Маша и мальчик с лицом наследного принца. Маша рассказывала, что она будет сдавать (*не знаю, что обычно сдают — математику, русский*), мальчик — куда он будет поступать. *Куда-куда? — В кино и телевидения. — На актера? — На актеров там не учат, кино буду снимать. — Значит, режиссер. — Маша! Режиссер — это такой человек, который кричит на артистов, а кино снимает оператор.* Маша улыбнулась как посвященная в тайну.

Ветер времени дует в обе стороны. Редкий человек чувствует его ток параллельно своей продолжающейся жизни. Особый секрет — ловить на щеках дуновение времени из будущего. В пустоте между вагонами Маша почувствовала — ее пальцы заледенели от достоверности этого ощущения, — что эти десять минут на прыгающих вагонах — мальчик на одном, она на другом — станут камертоном ее счастья. Отсюда, из поющего стыка вагонов, она видела себя будущую — взрослую, — как она оглядывалась (прошедшее время здесь уместно) на себя-девушку, еще даже не десятиклассницу, неловко попадающую сигаретой в рот и широко глядящую на мальчика с лицом наследного принца — еще не влюбленную, но почти, почти! *А тебя как зовут? — Рома, —* сказал мальчик, глазами кося на ручку двери.

Так получилось, что Рома вынес Машины сумки на платформу, потом нес их до вокзала (*не надо, я сама — да мне не тяжело*), потом помог ей разобраться с телефоном (*ну ладно, пока... подожди, у тебя нет монетки случайно?*), а потом

плюнул на то, что дома ждут родители, и поехал провожать Машу до школы (*все равно ведь ты сама не найдешь*).

Маша впервые в метро, и громада техники вызывает у нее благоговение. Она, конечно, не нашла бы сама: мальчик лавирует между людьми, перепрыгивает из поезда в поезд — будто он родился в метро. В вагоне, держа сумки между коленей, он отрешенно смотрит в пол — его не интересует ни то, как проносятся за окнами провода и лампы, ни реклама на стенах, ни разъезжающиеся двери, ни прозрачная жизнь соседнего вагона, ни люди, сидящие напротив, — большая крашенная тетка с мягким кубиком книжки в ладони, пьяный молодчик, приваливающий голову ей на плечо (она смотрит на него надменно). Маша старается делать вид, будто все это ей тоже до фени, но получается плохо — сторонний наблюдатель, найдись он, все понял бы про нее: первый раз в метро, *из какого ты, говоришь, города, девочка?* Украдкой Маша взглядывает на Рому, и, вероятно, он бы испугался, поймай этот взгляд: в нем — слишком много знания о будущем и восхищения им.

Из поезда в поезд и на другой — они выходят из метро и скоро оказываются у школы. Не доходя до ворот ста шагов, мальчик ставит сумки на землю (Маша замечает — на асфальт): *далее сама. Покурим?*

Маша сглатывает и кивает — и от этого закашливается.

Солнце растворяется в воздухе, из раскрытого окна визжит дрель, дым, кажется, никуда не улетает, остается с ними. Рома внимательно разглядывает клумбу с цветами и молчит. Пока Маша думает, попросить ли телефон (она заливаясь краской и сигарету подносит к губам чаще, чем нужно), — табак успевает истлеть, мальчик затаптывает ногой окурки, подхватывает рюкзак и — *ну ладно, говорит, удачи тебе.*

Содержание

Изобретение сюжета	5
Родовая хирургия	19
Искушение любовью	36
Секс как молодость	56
Феноменология вины	80
Диалектика свободы	108
Как Капа стал фотографом	130
Games Play People	149
Горизонт событий	176
Онтология смерти	201
Удвоение мира	227
Семена вещей	250
Открытие Америки	277
Благодарности	302

Литературно-художественное издание

Вадим Левенталь

Маша Регина

18+

Художественный редактор *Павел Лосев*

Редактор *Павел Крусанов*

Корректор *Антонина Семенова*

Компьютерная верстка *Наталии Ремизовой*

Подписано в печать 20.04.2018. Формат 60 × 90/16

Бумага офсетная. Печать офсетная

Усл. печ. л. 18. Тираж 1000 экз. Заказ ???

ООО «ИД „Флюид ФриФлай“»
109382, Москва, ул. Краснодонская, д. 20, корп. 2
тел.: (985) 8000 366
www.fluidfreefly.ru
e-mail: info@fluidfreefly.ru

Интернет-магазин: gorodets.ru

Тут не просто «умелый рассказчик», «опытный
раконтер»; тут чувствуется рассказчицкое, иначе
не скажешь, величие.

afisha.ru

Роман о невероятном таланте и расплате за него.

prochтение.ru

Мудрость, наблюдательность и удивительный
стилистический такт.

colta.ru

Героиня Маши Региной для литературы
типаж новый, но показательный.

gazeta.ru

Это текст о настоящем сегодня, о настоящих людях
современности, поэтому ему невольно веришь.

dystopia.me

Левенталь касается тем, о которых молодым
часто думать не свойственно: старение, медленная
энтропия жизни, двойное, а то и тройное дно
страсти и творчества.

timeout.ru

Умное, захватывающее чтение.

odnako.org

Книга талантливая, сюжет не скучный,
слог умный и живой.

Звезда

